

В.В. Розанов
**Теория Чарльза Дарвина, объясняемая из личности её
автора**

*По изданию: Собрание сочинений. Природа и история. Том 25.
Москва, 2008 г.*

*Впервые опубликовано в газете «Новое Время» № 7246, 1896 г. под одноименным
названием.*

Чарльз Дарвин принадлежит к числу немногих в истории умов, которые печать своего мышления успели наложить на целую эпоху. Он не только сообщил новое и неожиданное движение наукам, которым специально посвятил себя, но методом этих наук, им открытым, заразил и другие отдаленнейшие отрасли знания, которых никогда не касался прямо — историю, этику, эстетику. При всем упорстве сопротивления некоторых светил науки, как Агассис, как Бэр, как Кёлликер, его теории быстро восторжествовали во всем образованном мире, как бы не замечая, не чувствуя этого противодействия, обходя и заливая в своих триумфах всякие протесты. Что это был за человек, возбудивший вокруг себя такое огромное движение? Как рос он, как развивался? Каковы были истинные размеры его способностей, широта влечений? Все эти вопросы были небезынтересны для цивилизованного мира; можно было ожидать, что они будут ему самому предложены. И они, действительно, были ему предложены, и он дал на них ответ в кратких автобиографических заметках, недавно появившихся и на русском языке ("Сочинения Ч. Дарвина", т. III, вып. 3. Автобиография. Издание д-ра философии М. Филиппова. СПб. 1896 г.).

I

В образованной и состоятельной английской семье Чарльз Дарвин рос живым, подвижным мальчиком, но без излишней впечатлительности.

Уже на девятом году потеряв мать, он, однако, "ничего не мог припомнить о ней, исключая ее смертного ложа, черного бархатного платья и затейливо сделанного рабочего столика". В тот же год он поступил в школу, и память его приурочивает к этому же времени начало привязанности к собиранию коллекций, из которой вытекла позднее его любовь к естественным наукам. "Я пытался, — пишет он, — узнавать названия растений и собирать всякого рода вещи: раковины, печати, марки, монеты, минералы. Страсть к коллекционированию, делающая человека систематиком-натуралистом, знатоком редкостей или, наконец, скрягой, была во мне очень сильна и явно была врожденною". Даже в воспоминании, относящемся к более позднему возрасту, он пишет, что собирал минералы без всякой серьезной мысли: "Все, о чем я заботился — это приобрести минерал с новым названием, и едва ли пытался их классифицировать" (стр. 6). Любопытен, хоть и миниатюрен, один факт, одна простая шутка, сообщаемая им из этой поры своего детства: однажды своему товарищу в играх, Лейтону, известному впоследствии ботанику, он объявил открытие, что если поливать первоцвет и *Polyanthus* различно окрашенными жидкостями, то листья и стебель их также будут различно окрашены. Это была выдумка: он не делал ни опытов, не получал результатов. Это было игривое движение души — однако замечательно предварившее, в направлении своего движения, все будущие его серьезные работы: случай априорного предрасположения, на который если б он оглянулся в себе, он более поверил бы, что есть или может быть аналогичная предрасположенность и в целой природе. Замечательно, однако, что, записав его в старости, он как бы вовсе не заметил его, передав только как факт, как любопытный раритет в коллекции жизненных случаев.

Пробыв один год в элементарной школе, он поступил в частное училище д-ра Ботлера и провел в нем семь лет: возраст нашего гимназического учения. "Для моего умственного развития, — рассказывает он, — едва ли что-либо могло быть хуже, нежели училище д-ра Ботлера, так как это была строго классическая школа, где больше ничему не обучали (т. е. сверх древних языков и математики), исключая разве еще скудных сведений по географии и истории древнего мира. Как воспитательное средство, школа для меня представляла лишь пустое место. Во всю свою жизнь я был замечательно неспособен овладеть вполне каким-либо языком", — т. е. организмом языка, как некоторым живым целым. В английских классических школах, между прочим, ученики упражняются в сочинении стихов, — глубоко архаический остаток, но он приучает к гибкости языка и мысли, к подвижности, изобретательности в слове и, также, напрягает воображение. Вообще дети и добро-

вольно этим охотно занимаются, но замечательно, что Дарвин не только питал к этому занятию отвращение, но и совершенно ничего не мог сделать с задаваемыми темами. Едва он нашел выход из затруднения: "У меня было много друзей, мы вместе собрали хорошую коллекцию старинных стихотворений, и, кое-как склеивая разные стихи, иногда с помощью других мальчиков, мне удавалось достичь чего-нибудь". Пример еще априорного предрасположения преодолевать встреченную трудность, которое мы позже встретим в его объяснениях. В остальном учение шло успешно: Дарвин был прилежен, и, имея хорошие способности, особенно память, он не только не отставал в своих уроках, но и успевал готовить их за день вперед. "Я выучивал 40—50 строк *Виргилия* или *Гомера*, пока был на утренней молитве в часовне". Вообще он "добросовестно работал над классиками и никогда не прибежал, как часто делали другие, к подстрочникам". Так проходили годы его отрочества и первой юности — лучшие годы всякой человеческой жизни. Он, однако, не оставлял или предполагал, что не может оставить хорошего впечатления: "Когда я вышел из школы, — пишет он несколько угрюмо, — я был по возрасту не слишком велик и не слишком мал, и думаю, что все мои учителя, да и мой отец считали меня очень дюжинным мальчиком, скорее даже несколько ниже обыкновенного умственного уровня".

Итак, эти ученические годы были тем, о чем сказал и Пушкин, применительно к своей, по способностям, по плодам гениальной эпохе:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.

Для Пушкина, как и для Дарвина, осталась здесь незамеченною одна великая, благодатная, охраняющая черта: незанятость, непоглощенность души извне навязываемыми, в определенном порядке, впечатлениями. И, между тем, дети, собранные в такую школу, учились; они были окружены книгами и учителями; они собрались сюда для образования, без всякой другой нужды и заботы, атмосфера духовная, атмосфера умственного возбуждения, однако без всякой принудительности, навязчивости или, по крайней мере, оставляющая широкий досуг. Байрон или Пушкин в этой школе зрели свободно для версификации; Дарвин зрел для своей особенной — великой в истории, если не перед истиной — задачи. "Ты ни о чем не думаешь, — вскричал однажды на него отец, — как только об охоте, о собаках и о ловле крыс; ты будешь позором и для себя, и для своей семьи". Он не догадывался, что именно в этих шалостях, в этом баловстве зрел будущий Дарвин, как

зрел и Пушкин, серьезно зрел, когда он

Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал.

II

Страсть к собиранию коллекций, связанная с пребыванием на воздухе, в лесу, в поле, действительно скоро осложнилась у Ч. Дарвина страстью к охоте. Когда он был у Ботлера, он дни целые просиживал над удочкою, следя терпеливо за поплавком; с летами в нем воспреобладала страсть к ружью. "Не думаю, — пишет он, — чтобы кто-либо выказал столько рвения к самому священному делу, сколько я обнаружил при стрельбе птиц. Как отлично я помню день, когда убил первого бекаса; мое возбуждение было так сильно, что я с величайшим трудом мог перезарядить ружье — до того у меня дрожали руки". Он стал отличным стрелком. Уже гораздо позднее, в Кембридже, в свободные часы учебных месяцев, он упражнялся в меткости стрельбы, туша пистонами зажженную свечу, которою просил товарища махать. "Что за удивительное дело, — заметил тутор, — мистер Дарвин, кажется, по целым часам занимается тем, что хлопает в своей комнате бичом".

На 17-м году он перешел от Ботлера в Эдинбургский университет, где старший брат его оканчивал медицинское образование; по-видимому, у отца его было намерение и второго сына сделать доктором. Но учение и здесь хотя текло без всяких заметных прорех, однако, как и в "строгой классической школе", в Шрусбери, было безжизненно, не было внутренне напряжено, без "огонька" в учащемся и, кажется, в самих учителях. "Преподавание происходило исключительно по лекциям, — вспоминает он, которые были невыносимо скучны, исключая лекций Гопа по химии; но, по-моему, лекции, по сравнению с чтением, не представляют никаких преимуществ, отличаясь многими невыгодными сторонами. Лекции д-ра Донкана о *Materia medica*¹ в 8 часов утра зимою — это нечто, о чем страшно вспомнить. Д-р Монро читал об анатомии человека; его лекции были так же вялы, как и он сам, и самый предмет был для меня противен". Понимая, в старости, важность анатомических знаний для своих последующих трудов, он с большою досадою отмечает, что его своевременно не принудили работать над рассечением трупов. Этот пробел остался непоправимым, как и его неумение рисовать, "моя неспособность к рисованью" — отмечает он. И в самом деле, во время

¹ Предмет медицины (*лат.*)

экспедиции на корабле "Бигль" он накопил "ворох манускриптов, но по недостатку анатомических у меня сведений и неспособности к рисунку — он оказался в научном отношении бесполезным". На второй год ему пришлось слушать лекции Джемсона по геологии и зоологии, "но, — записывает он, — они были невероятно вялы; единственный эффект, произведенный ими на меня, состоял в том, что я решил никогда в жизни не читать ни одной книги по геологии и ни за что не изучать этой науки".

Таким образом, по всем этим кратким отметкам мы видим, что естествознание собственно как наука, как методическое изучение, было у него на втором плане. И тем обильнее, уже с первых детских лет, в нем разрасталось — если можно так выразиться — естествознание "глаз", "созерцания", "непосредственного", но внешнего наблюдения природы. Так, в десятилетнем возрасте, когда он был лишь на год старше тех лет, в которые ничего не мог запомнить о матери, он точно записывает: "Поехав на три недели в Плас Эдварс, на морском берегу в Уэльсе, я был заинтересован и удивлен, увидев одно крупное, черное с красным, полужесткокрылое насекомое, нескольких мотыльков (*Zygena*) и одного жука (*Cicindela*), не встречающихся в Шроншире". — "Я почти задался, — поясняет он, — целью собирать всех насекомых, каких только мог найти мертвыми, потому что, посоветовавшись с сестрой, пришел к заключению, что нехорошо убивать насекомых ради составления коллекций". В то же время он стал наблюдать над нравами птиц. "Это доставляло мне, — пишет он, — большое удовольствие, и я стал даже составлять по этому предмету заметки". Он был, судя по окружающим эту заметку воспоминаниям, еще совершенный ребенок в это время: очевидно, здесь пробивался никем пока не замеченный талант. Однако в 1826 году, т.е. только в 17 лет, он уже делает первое хоть и миниатюрное, но новое открытие: "Открытие состояло в том, что так называемые яйца у *Flustra* обладают способностью произвольного движения с помощью ресничек и что они на самом деле личинки"; скоро к этому он прибавил и еще наблюдение, ускользавшее ранее от всех, — "что маленькие шаровидные тела, о которых предполагали, что это незрелое состояние *Fucus lorens*, на самом деле не что иное, как яичные оболочки червеобразной *Pontobdella muricata*". В нем зрел наблюдатель, натуралист.

В этот же 1826 год он совершил первое свое путешествие-экскурсию. "Пешком, с двумя товарищами, имея ранцы на спинах, мы прошли по Северному Уэльсу. Большую часть дней мы шли, — рассказывает он, — по тридцати английских миль, включая день восхождения на Сноудон. Я также совершил с сестрой поездку в Сев. Уэльс; слуга вез

наши платья в седельных выюках. Обе осени были посвящены охоте, главным образом у мистера Оуэна и у моего дяди Джоссии, в Мэр. Мое рвение было так велико, что я бывало ставил мои охотничьи сапоги наготове у изголовья, когда ложился спать, чтобы не потерять и полминуты на одеванье их утром. В одном случае я достиг отдаленной части поместья Мэр, 20 августа, охотясь за глухарями, и только тогда заметил, где я. Затем я целый день, вместе с лесничим, с трудом пробирался сквозь густой вереск и чащу молодых сосен". В нем, в эти годы университетской жизни, пробуждалось нечто вроде стыда к своему любимому занятию: "Я старался убедить себя, что охота — почти ответственное занятие, так как она требует столько искусства для того, чтобы судить, где найти больше дичи и как лучше всего спустить собак". Предостережение отца имело все видимости сбыться.

III

"Казалось в эти годы, — припоминает Дарвин, — что жизнь праздного спортсмена-охотника всего более соответствует моим склонностям". Отец, видя, что никакого доктора из него не выйдет, предложил ему сделаться священником. Так же без отвращения и без страсти, как он готов был стать доктором, он был готов стать священником. "Я просил несколько времени подумать, — пишет он, — так как из того немногого, что слышал или мыслил по этому вопросу, я чувствовал для себя щекотливым объявить, что верую во все догматы англиканской церкви: хотя в другом отношении я охотно склонялся к мысли стать сельским священником. Поэтому я прочел с величайшим вниманием книгу Персона о Символе веры и несколько других книг по божественным предметам, и так как тогда не имел ни малейшего сомнения насчет строгой и буквальной истины каждого слова в Библии, то скоро убедил себя в том, что наши догматы веры должны быть всецело приняты".

Для занятия предполагаемой должности нужно было ему получить училищную степень, и для этого, в 1828 г., он отправился в Кэмбриджский университет. Оказалось, однако, что за два года он забыл все из классиков и даже забыл некоторые греческие буквы. Принуждены были взять ему репетитора. О годах нового университетского учения он пишет: "В течение трех лет, проведенных в Кембридже, я тратил время по-пустому — во всем, что касается университетских занятий. Я пытался взяться за математику, и даже взял для этого частного учителя, — но подвигался очень медленно. Эти занятия были мне противны, главным образом по моей неспособности понять какой-нибудь смысл элементарных действий алгебры. Спустя годы, я очень жалел, что не при-

нудил себя подвинуться хотя бы настолько, чтобы понять что-либо в руководящих началах математики, так как я замечал, что обладающие этою отраслью знания обладают как бы лишним органом чувства; не думаю, однако, чтобы и при усилиях я достиг чего-либо выше очень низкой ступени. Относительно классиков я не делал ничего, исключая посещения немногих обязательных лекций, и посещения мои были почти номинальны". На третий год, однако, он начал работать серьезнее — для получения степени бакалавра; между прочим, нужно было пройти "Свидетельства христианства" Палея и его же "Нравственную философию". "Это было, — пишет Дарвин, — сделано основательно, и я уверен, что мог бы написать на память все "Свидетельства" совершенно правильно, но, конечно, не ясным словом Палея. Логика этого сочинения и, могу прибавить, его "Естественного богословия" доставляли мне столько же удовольствия, как и Эвклид". Ни геологии, которую читал в Кэмбридже знаменитый Сэджвик, ни ботаники, которую читал талантливый Генслоу, он не стал изучать; Сэджвика даже не слушал; но там бывали экскурсии. "Эти экскурсии, — записывает Дарвин, — были восхитительны".

IV

Так шло его воспитание до 1831 г., когда он кончил курс университета, готовый назавтра стать священником. Ему было 22 года. Печать чего-то светлого и спокойного, *непрерывно* спокойного, лежит на всем его детстве и юности; ничего выдающегося, никакого потрясения, никакого бурного кризиса, ни даже сильной любви (о "шалостях" молодости он передает в одном месте воспоминаний). Самые легкие, априорные предрасположения в занятиях и способах умозаключения; заметное преобладание внешних способностей над внутренними; любовь к ландшафту, к природе, к движению (охота); совершенное отсутствие субъективизма; отсутствие влечения заглядывать внутрь предметов. Вероятно, в связи с этим, в нем было замечательное отсутствие музыкальных способностей: "Я до того был лишен музыкального слуха, — пишет он, — что не мог никогда заметить диссонанса, выдержать такт или правильно промурлыкать мелодию", — что вызывало над ним даже шутки товарищей, забавлявшихся тем, что он не может узнать одной и той же мелодии, если играть ее несколько скорее или несколько медленнее. Он уже прочел к этому времени, "среди разных книг", исторические, т.е. представляющие занимательность факта, драмы Шекспира, "Времена года" Томсона и только что появившиеся тогда поэмы Вальтер-Скотта и Байрона; они ему нравились, но не волновали его. Позднее любовь к

поэзии в нем вовсе угасла. Уже отмечена была его нелюбовь к рассечению трупов; но — едва ли не в связи с отсутствием субъективизма — у него и вообще не было интереса к внутренней стороне предметов и явлений, так сказать к анализу их содержания. "Все, о чем я заботился, собирая минералы — это о том, чтобы приобрести минерал с новым названием, и едва ли пытался их классифицировать", — записывает он. Но вот перед ним луг, холмы, лес — и он жадно бросался в них и разглядывал все, что здесь попадалось; умел искать, имел талант находить, подмечать: страстный охотник неуловимо переходил в точного натуралиста, глаз которого не только не делал ошибок, но и подмечал то, что ранее от всех ускользало. В высшей степени — внешняя природа, в высшей степени — талант ко всему внешнему.

Он или не проходил вовсе, или проходил невнимательно основные естественные науки: анатомию, геологию; эмбриологии и гистологии в это время еще не существовало иначе как в зачатках; не знал фундамента естествознания — математики, иначе как в элементах. Что касается так называемого "общего образования", то, припоминая встречу свою, в 1827 году, с Мэкинтошем, он отмечает несколько невеликатно к себе: "Я понимал столько же, сколько свинья, в вопросах истории, политики, нравственной философии, о которых он говорил". Но все изкупалось, ввиду задач, ему предстоявших, неиссякаемой любовью к факту, неутомимой жаждою природы, ясным здравомысленным осуждением (любовь к Эвклиду). Одновременно с тем, как он изучал "Свидетельства христианства" Палея, любуясь их логикой, — он так передает о своих главных занятиях, почти с юношескою свежестью воспоминания, хотя оно было записано в старости:

"Но ни одно занятие в Кэмбридже не выполнялось мною так ревностно и не доставляло мне столько удовольствия, как собирание жуков. Это была простая страсть к коллекционированию, потому что я не анатомировал их и редко сравнивал их внешние признаки с опубликованными уже описаниями, но добывал их с названиями, получив их как угодно. Дам здесь доказательство моего усердия: однажды, оборвав немного старой коры, я увидел двух редких жуков и схватил их в руки, затем, я увидел третий новый вид, которого ни за что не хотел потерять: тогда я схватил того, который был в правой руке, в рот. Увы! Он выбросил немного необычайно едкой жидкости, которая обожгла мне язык, так что я был вынужден выплюнуть жука и потерял как его, так и третьего. Я очень удачно собирал коллекции и придумал два новых метода: заставлял работника зимою соскабливать мох со старых деревьев и класть в большой мешок, а также собирать мусор на дне барж, в которых возят камыш из болот, и таким образом добыл несколько очень ред-

ких видов. Ни один поэт не испытывал большего восхищения, читая свою первую напечатанную поэму, чем испытывал я, увидя в издании Стефенса, "Иллюстрация британских насекомых", магические слова: "Пойман Ч. Дарвином, эсквайром" (стр. 18).

Следует здесь еще отметить одну черту — черту необыкновенного нравственного здоровья во всех условиях, среди которых рос Дарвин, и особенно в людях, с которыми он сталкивался (характеры Фиц-Роя, дяди Джоссии, да и многих других). Правда, никакого особенного углубления мы в них не наблюдаем, но и никакого искажения, извращения. Полная противоположность тому, что мы находим в условиях и в среде воспитания, напр., Вольтера или Руссо. Здоровый ландшафт кругом — и люди здоровые и свежие почти как этот ландшафт.

Если дар внешнего созерцания был преобладающею чертою в умственных способностях Дарвина, то в его нравственном складе нас поражает — пассивность. Он всем готов стать, но ничем — с горячностью. Мы уже видели, как он одинаково бесстрастно колебался между профессией медика и деятельностью священника, с равным интересом изучал Эвклида и Палея, добросовестно, "без подстрочников", работал над классиками. Любопытно, что путешествие на корабле "Бигль", продолжавшееся пять лет и сделавшее его собственно тем Дарвином, какого мы знаем, было для него случайностью: он не искал ни этой, ни вообще какой-нибудь экспедиции. Предложение капитана Фиц-Роя "уступить часть своей каюты любому молодому человеку, который согласится бесплатно поехать с ним в качестве натуралиста" — смутило мысли завтрашнего священника и вместе любителя коллекций. Но отец возразил — и в тот же вечер Дарвин написал отказ. Однако вмешался добрый его дядя Джоссия: "Во время охоты он послал за мною, предложив мне повезти меня в Шрусбери и поговорить с моим отцом, так как он находил, что с моей стороны будет умно принять предложение". Без всякого труда отец согласился, "и вот, — замечает сам Дарвин, — от такого-то пустого обстоятельства зависело важнейшее событие всей моей жизни, определившее мою дальнейшую судьбу". Замечательно и многозначительно, однако, медленное, неуловимое почти сложение этой судьбы, вне всяких предвидений и определенных целей в ее носителе. Дарвин, уже старик, говорит: "Оглядываясь назад, я теперь могу вспомнить, каким образом моя любовь к науке постепенно стала одерживать верх над всякою иною страстью: в первые два года путешествия моя старинная страсть к охоте удерживалась почти во всей силе, и я сам стрелял всех птиц и животных для своей коллекции, но постепенно я все более и более, а под конец и совсем, передал свое ружье слуге, так как стрельба мешала моей работе, главным образом геологическому

исследованию страны. Я убедился, хотя бессознательно и незаметно, что удовольствие наблюдения и рассуждения — гораздо более высокого сорта, нежели то, которое доставляется ловкостью и спортом всякого рода". Границы, проведенной между охотником и натуралистом, между натуралистом и мыслителем, не только мы не видим, но она потеряна, неосязаема и в сознании его самого.

Если его воспоминания, сухие и внешние какие-то, мы сравним с обрывками воспоминаний о себе, например, Декарта или Бэкона, мы будем поражены отсутствием в нем всякой вообще игры внутренних сил, всяких порывов творчества, неясных, смутных и вместе неодолимых влечений. Грез мысли он так же не знал, как не знал и грез любви. "Моя способность следить за продолжительным и чисто отвлеченным ходом мысли — очень ограничена", — записывает он в одном месте. В самом конце автобиографии он делает общий, синтетический очерк своего душевного склада, как он установился во вторую половину жизни его. "До 30-летнего возраста или несколько далее того, поэзия разного рода, вроде сочинений Мильтона, Грэя, Байрона, Водсворта, Кольриджа и Шелли — доставляла мне большое удовольствие, а также доставляли его картины и музыка. Но теперь, вот уже много лет, как я не могу вынести чтения ни одной строчки стихов. Попробовал недавно читать Шекспира и нашел его до того невыносимо скучным, что меня стошнило. Я также почти утратил вкус к картинам и к музыке. Музыка обыкновенно заставляет меня думать слишком энергично о том, над чем я работал, вместо того, чтобы доставить мне удовольствие. Я сохраняю некоторый вкус к прекрасным ландшафтам, но они не причиняют мне изысканного наслаждения. С другой стороны, повести или произведения воображения, хотя и не очень высокого сорта, в течение многих лет были для меня чудесным облегчением и наслаждением, и я часто благословляю всех беллетристов. Изумительное количество было прочитано мне вслух, и мне нравятся все, если они сносны и если не оканчиваются несчастливо, против чего следовало бы издать закон. По моему вкусу, повесть может считаться первоклассной лишь при том условии, чтобы в ней была какая-нибудь личность, которую можно полюбить от всей души, — и если это хорошенькая женщина, то всего лучше". В высшей степени травоядное чувство... к человеку, к поэзии. Мы выше привели уже его собственный способ сочинять стихи (в школе).

Неуловимо для него самого, скрыто от всего цивилизованного мира — черты его духа и судьбы, все, отразились на его теории. Он в ней не мир обрисовал, еще менее — объяснил его; он в ней себя выразил.

Дарвинизм есть внешнее объяснение природы, есть взгляд, снаружи брошенный на живой мир и скользящий по его поверхности. Широкий, но не проникающий гений натуралиста в высшей степени сказался в нем. Все факторы, образующие формы этого мира — найдены не скальпелем, усмотрены не под микроскопом, но найдены в лесу, в поле, подмечены в нравах животных и в обстоятельствах, если можно так выразиться, их быта: этот лес, эти деревья — дают окраску им; здесь ищут они пищу и, не находя ее достаточно — борются за существование. Формы (органические) не рождаются изнутри, но делаются снаружи — почти так, как творец теории делал "поэзию", склеивая разные стихи старых авторов. Природа дает обилие всевозможных новых изменений, но наружные факторы отбрасывают ненужное в них и оставляют жить, закрепляют существование только за "полезным". Так лепится великая органическая поэма через "подбор" случайных признаков, и если в ней более мысли или красоты, чем в подававшихся д-ру Ботлеру стихах, — этого не чувствовал их автор. Нет в этой лепке форм живого участия самой природы; она не есть субъективное, самосозидающееся "я": нет в ней вообще субъективного, внутреннего — вот коренная мысль дарвинизма и главная черта Дарвина. Как он — природа инертно готова стать всем; но чем становится — это определяет среда, определяет случай, как дядя Джоссия некогда определил в сущности весь дарвинизм и роль его в новом просвещении. Только внешние стимулы есть; нет вовсе внутренних предрасположений, нет ничего априорного в природе, нет гения в ней — и только обыкновенная способность всем сделаться, как у него — обыкновенная способность всему научиться. Развивается орган — это вследствие приспособления к условиям среды¹; индивидуум изменяется — это давит на него среда; одно атрофируется в особях того же вида, опадает, другое пышно расцветает: это — случайные видоизменения, медленно суммирующиеся в борьбе за существование. Момент медленности, постепенности, сложения неуловимо малого — что было случайно и малоценно, а выросло в большое и важное, — есть отличительный в теории дарвинизма, неистребимый в Дарвине, неутомимом коллекционере, который так медленно и постепенно, "без всяких резких переходов", стал первым светилом своего времени и сам спрашивал и не находил ответа: "Когда я таким стал?" Никакого плана — у него и в ней; никакой цели, никакого преднаме-

¹ Мысль, собственно принадлежащая Ламарку, но зачисляется нередко в состав дарвинизма при несколько компактном и общем его представлении.

рения у творца теории и — в природе, им созерцаемой. В его бесстрастном темпераменте ни разу не зародилось даже каприза, нетерпеливо ищущего выразиться; и, сколько он ни слушал глухою душою своею лоно природы — он там не открыл никаких горячих, живых токов. Широким, необычайно широким взглядом окинул он мир, но было именно в этом взгляде что-то скользящее, созерцающее: дивный взгляд охотника и тот странный недостаток уха, который насчитывал две разных мелодии там, где была одна, но разного темпа. Единства мелодий мира он не уловил; бедный рифмач — он не уловил его поэзии, любитель Палея — он вовсе не понял его религии. Послушаем, что говорит он:

"Жирафа обрывает все низко растущие ветви деревьев; остаются только высоко растущие: все жирафы вытягивают к ним шеи; но некоторые все-таки не дотягиваются и вымирают — "переживают" только с шею, более удлиненною".

Это изумительно ясно и кратко. Это — что-то из Эвклида, из первых его теорем: равенство треугольников, и то понимаемое при условии, если они не очень уродливо нарисованы. Но мы знаем, как затруднялся Дарвин, когда пытался проникнуть дальше их. "Никогда, никогда я не мог предположить, — говорил уже старцем Агассис, — чтобы подобные умозаключения могли подучить торжество в науке". Агассис был палеонтолог, т.е. занимался разьяснением органических остатков, находимых в земной коре; Кёлликер был гистолог — он изучал тончайшие строения тканей; Бэр основал эмбриологию — науку о зарождении и развитии организмов. Все они смотрели на природу изнутри ее форм, ее процессов; там они с несомненностью видели проявление ее субъективных, зиждительных законов: в несколько дней и иногда часов построяется, по удивительному плану, животный организм, и они спрашивали, имели тенденцию спросить, не так ли, не аналогично ли в тысячелетиях и мир был построен? Но эти тайны Дарвин хотя и знал, конечно, — но он узнал их позже, когда уже были образованы его собственные, лесные и полевые, взгляды; а главное, он не увидел их своим чудесным глазом: он узнал их книжно, как чужие, навязываемые знания — и это всегда его утомляло еще со времен, когда он слушал о *Materia medica* Донкана, и никогда книга в нем не вызывала живых размышлений.

Между тем, простота и краткость новой схемы восторжествовала и заразила мир: историкам и моралистам, этикам и социологам она была не менее понятна, как и натуралистам. Все в ней нашли метод мысли, путь исканий и открытий, способ становиться учеными и мыслителями. Это было впервые в истории, когда метод растлил ученый мир, растлил

самый ум человеческий, не требуя от него усилий усвоения и приложения, понятный младенцу, как и старику; как несомненно растлил бы человеческий ум тот, кто вдруг показал бы в высокой степени правдоподобно, что для объяснения планетных движений, для познания механики и физики излишни конические сечения, анализ и дифференциалы, а совершенно достаточно знание свойств элементарных фигур, чертимых при помощи линейки и циркуля.

В. Розанов

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта
<http://varvarin.ru>